

Б.М. Фирсов

ИСТОРИЯ И СОЦИОЛОГИЯ: СТЕНЫ И МОСТЫ*

*В статье развиваются идеи недавно опубликованной книги автора, посвященной истории советской социологии 1950–1980-х гг.**, и, в частности, рассматривается мир соотношений социологического и исторического познания как двух ведущих способов освоения реальности. Констатируется, что историзм отечественной социологии и социологизм исторической науки и по сей день оставляют желать много лучшего, что является не только результатом политического контроля и идеологического давления «сверху» (принудительная амнезия), но и следствием избегания столкновений с прошлым «снизу» (сознательная амнезия) в советскую эпоху. Автор рассматривает внешние и внутренние факторы, порождавшие беспамятство социальных наук, утверждая, что преодоление этого опасного феномена значило бы привитие гражданам России умения соизмерять масштабы истории страны и истории их повседневной жизни. Статья намечает несколько путей (мостов) в направлении развития органических связей социологии и истории.*

Вместо предисловия

Поставлю вопрос: «В каких отношениях находятся социологическое и историческое познание как два весьма важных способа освоения реальности?» До последнего времени они подчинялись одной из теорем Лобачевского, который утверждал, что параллельные линии пересекаются, но точка их пересечения находится в бесконечности. Говоря о российской социологии, скажу, что ее историзм и по сей

* Доклад на конференции «История и социальные науки в России» (Будапешт, 10–11 октября 2002 г.).

** См. рецензию Здравомысловой Е.А. «О книге Б.М. Фирсова “История советской социологии 1950–1980 -х годов”» в этом номере.

день оставляет желать много лучшего. Подозреваю, что и социологизм российской исторической науки не вызовет серьезных восторгов у профессионалов-экспертов. События последних 15 лет открыли возможности для преодоления одного из самых серьезных заболеваний российских (до недавнего времени – советских) общественных наук. Диагноз этого заболевания – *беспамятство (амнезия)*. Оно было не только результатом всякого рода политических репрессий и идеологического давления «сверху» (*принудительная амнезия*), но и следствием преднамеренного избегания столкновений с прошлым (*сознательная амнезия*).

Вирусы социального беспамятства поражали не только науку и ее представительей, но и массы рядовых жителей страны. Мои детские и юношеские годы прошли под властью этих запретов на знание дореволюционного прошлого страны. Жизнь для меня и моих сверстников должна была начинаться только с картин ослепительного будущего, где настоящее было лишь оптимистической прелюдией к нему, а прошлое как бы отсутствовало. Писатель Б. Васильев, родившийся в 1924 г., напомнил недавно, что первые десять лет после революции история в школах практически не преподавалась. Впрочем, и сейчас она обитает, по его выражению, на задворках школьных программ, подпитываясь мифами вроде классовой борьбы как вечного двигателя прогресса человечества.

В перестроечную пору мне пришлось наблюдать попытки сознательно отменить всякое прошлое за ненадобностью. «Мы должны стать нормальной страной» – это требование представлялось вполне обоснованным. Но устремление к «нормальности» происходило без опоры на опыт предшествующих исторических периодов и эпох. Еще важнее (но об этом стали говорить только сейчас, после того как улеглись перестроечные страсти), что под влиянием эйфории гласности мало кто обращал внимания на болезненность крутой ломки ментального стереотипа огромного народа. В итоге уже через 2–3 года после отставки Гайдара и начала резкого торможения реформ большинство участников всероссийских опросов общественного мнения (до 60 % опрошенных) полагало, что сама по себе советская система не так уж и плоха (негодными были правители, да и то не все) [1, с. 24].

А вот что показывали российские исследования в преддверии наступившего тысячелетия. На либеральные ценности ориентированы примерно 10–15 % российского населения. На умеренный, просвещенно-патриотический прагматизм, вбирающий в себя и традиционные русские ценности, и западные ценности либерального толка, ориентируются 40–45 % россиян [2, с. 157–158]. Сторонники асоциального индивидуализма не превышают 10–15 % среди всего населения. Для того чтобы получить 100 %, придется добавить около 30% населения с ностальгией по многим правилам советской жизни (плановая экономика, забота государства, коллективистские установки). Итог этого коктейля из ценностей – *ментальная гибридность*, заблудившаяся в лабиринтах советского прошлого. Было бы триумфом повторять, сколь опасно беспамятство социальных наук. Преодолеть его значило привить людям умение соизмерять масштабы истории страны и истории повседневной жизни ее рядовых граждан.

Первая стена: культура как источник массовой амнезии

Согласно энциклопедическим определениям, амнезией считается отсутствие воспоминаний или неполные воспоминания о событиях и переживаниях опреде-

ленного периода. Корни принудительной массовой амнезии восходят к Октябрю 1917 г. и внедрению большевиками государственных (искусственных) форм жизни на основе «воспитания масс». В период левых культурных экспериментов ранее существовавшие виды жизнедеятельности рекомендовалось предать забвению. Западная цивилизация, если и не отрицалась, то находилась под подозрением. В любом случае возможность следования ее вызовам исключалась. Раннебольшевистские ценности заметно доминировали до конца 1920-х гг., не имея официально разрешенной альтернативы [3, с.70–77].

В несколько ходов (не станем их перечислять) все нити политического управления страной оказались в руках заново рождавшейся бюрократии, которая имела далеко идущие, утопические планы. Один из них – переплавка дееспособного населения, прежде всего молодых поколений, в человеческий материал нового типа, пригодный для создания социалистической экономики и социалистического общества. В этой связи нам не кажется случайным, что еще до того, как аппарат насильственного внедрения коммунистической идеологии обрел черты законченности, объектом коммунистических экспериментов стали основные институты социализации – школа, семья, церковь. Их разрушение, а затем радикальная трансфигурация связывались с гарантиями освобождения людей от влияния буржуазных традиций и культуры прошлого. Начали со школы, введя контроль над политической благонадежностью учителей, методами и содержанием обучения. Но, как писал один немецкий историк (R. Fulop-Miller) в 1927 г., посетив до этого нашу страну, «большевики организовали народное образование так, что никто не мог выйти за пределы официально разрешенного уровня знаний и образования, дабы не возникла для пролетарского государства опасность приобретения гражданами лишнего объема знаний, что превратило бы их в “подрывной элемент”» [4, с. 230–231].

Общество не могло длительное время сохранять состояние принудительного и хрупкого консенсуса на базе воинствующего революционного аскетизма и преданности делу всемирного пролетариата. Начались *вынужденные переговоры с прошлым* – встраивание в раннебольшевистские ценности элементов традиционных ориентаций и культурной жизни дореволюционных образованных классов [5, р. 349–371]. В числе первых были «амальгамированы» элементы культуры старого наивного монархизма: в обиход вошли знаменитые термины «отец и учитель», «вождь», «руководитель», «хозяин». Затем последовала мифологизация и прославление Ленина, далее началось внедрение ценностей подчинения власти, норм дисциплины во всем. Ввели также старую символику иерархии – погоны, мундиры и проч. Еще один элемент – восстановление в правах державного смысла понятий «родина», «великая Русь», исторических фигур, включая царей и князей (Петр Первый и Александр Невский). Примечателен такой способ гармонизации новых советских ценностей с традиционной ментальностью, как интенсивное повторное обращение к фольклору. В художественной литературе стали увереннее обозначаться положительные персонажи, которые, в свою очередь, содействовали развитию культуры народа на символическом и аксиологическом уровнях. Затем началась кампания под лозунгом – страна должна знать своих героев [6, р. 26, 36–37].

Многие российские и зарубежные авторы все изменения, имевшие место в советской действительности 1930-х гг., склонны приписывать Сталину, который всегда в подобных случаях выступает воплощением политического и всякого иного могу-

щества. Но кажется, что в рассматриваемом периоде действовал «параллелограмм сил». Инициатива провозглашения терпимости к некоторым из старых норм, возврата к элементам образа жизни дореволюционных образованных слоев во многом исходила от некоторых групп советской элиты, искавших пути мягкой замены тоталитарного режима на жесткую, но все же авторитарную модель управления обществом. На это серьезно влияли «обстановка завершения революции, поиски новой легитимации советской власти, усталость от марксоидных схем, спрос на популяризацию старого знания, адаптированного к новому поколению, жажда развлечения» [7, л. 2].

В культуре власть усмотрела дозируемый ею ресурс, который накапливается «наверху» (в среде образованных классов) и передается «вниз» для усвоения народными массами, нуждающимися в обогащении и развитии своего культурного опыта. Собственно культурные различия в этот период считались объективно заданными и их предстояло ликвидировать путем просвещения советских людей, повышения их культурности [8, с. 198–200]. Для этого и потребовались амальгамированные культурные образцы, рекомендованные к всеобщему распространению и использованию. Наступил период *насаждения «сверху» государственных эталонов культурного знания и поведения.*

Культура в амальгамированном варианте оставалась средством, она носила функциональный характер, обслуживая злободневные задачи социалистического строительства и прагматические нужды тогдашнего советского общества, проходившего через определенную стадию своего идейного и политического развития «на закате революционной эры» [7, л. 1].

В послесталинский период к амальгаме общественно одобряемых ценностей были добавлены небольшие дозы либеральных идей, не противоречащих советской концепции мирного сосуществования. Эта концепция не допускала конвергенции различных социально-экономических систем (конверсия ценностей советской цивилизации исключалась, поскольку они априори обладали историческими преимуществами перед ценностями буржуазного мира и, следовательно, олицетворяли будущее государства и общества). Данный период (его можно было бы назвать – *между традиционализмом и либерализмом*) начался в хрущевскую эру и закончился в середине 1980-х гг. К тому времени в недрах культуры послесталинского авторитарного общества выстроилась «нонконформистская» культура, носителями которой были представители диссидентского правозащитного движения и другие участники правового и культурного Сопротивления [9, с. 426]. Умеренное социальное и культурное расслоение, характерное для 1950-х гг. и периода «оттепели», приобрело совсем иные масштабы в конце 1980-х гг.

Советская элита, включая значительную часть научной, лишь после августа 1991 г. с громадным внутренним сопротивлением откажется от идеи удерживать массы в руках. Тем более о таком отказе не помышляли ее представители в 1930-е гг. и послесталинскую пору, *испытывая едва ли пожизненные сомнения перед вечной дилеммой советской эпохи – быть или не быть «расширению возможного и сужению запретного».* В итоге культура и социальные науки как ее органическая часть уступили свое наследственное место оруэлловскому «министерству правды». Как следствие, большинство российских граждан и по сей день не имеют «под рукой» категорий, подходящих для описания и осмысления общества, в котором они

живут: социально-культурные тексты, которые тиражируются в обществе властью, СМИ, средствами научного дискурса для большинства не специалистов остаются, по образному выражению российского лингвиста Р. Фрумкиной, «семантически опустошенными» [10, с. 16, 34].

Вторая стена: амнезия «снизу» как следствие подчинения правилам игры

Социологи (начну с них) создавали средства для «не возмущающего власть противостояния». Большое значение, например, придавалось языку правды, опирающемуся на роль подтекста. «Стремление к переоценке ценностей востребовало умение до времени не говорить и не писать лишнего не только из опасения перед возможными служебными неприятностями, но, прежде всего, из-за невозможности противостоять лжи в рамках существующего языка обществоведения. То, что написано, и то, что автор имел в виду, существенно различалось» [11, с. 15].

Сошлюсь на воспоминания И. Кона: «Почти в каждом из нас жил внушенный с детства страх. И даже в тех случаях, когда никто из близких не был репрессирован, устрашающие кампании против “врачей-убийц”, “вейсманистов-морганистов”, “безродных космополитов” или политические процессы типа так называемого “ленинградского дела” оставляли неизгладимый след в душах». Ведь «когда у тебя на глазах избивают других, чувствуешь, прежде всего, собственную незащищенность, страх, что это может случиться с тобой» [11, с. 110–131]. Второй механизм – описанное Джорджем Оруэллом двоемыслие, когда человек может иметь по одному и тому же вопросу два противоположных, но одинаково искренних мнения. Тот, кто жил целиком в мире официальных лозунгов и формул, был обречен на конфликт с системой. Рано или поздно он должен был столкнуться с тем, что реальная жизнь протекает вовсе не по законам социалистического равенства и что мало кто принимает их всерьез. А тот, кто понимал, что сами эти принципы ложны, был обречен на молчание или сознательное лицемерие. «Если долго живешь по формуле “два пишем, три в уме”, в конце концов, сам забываешь, что у тебя “в уме”, и уже не можешь ответить на прямой вопрос не из страха, а от незнания» [11, с. 113].

Двойственность положения ученых, о которой идет речь, восходит к более общим правилам социальной жизни советского общества – отношениям профессиональных элит и власти. Наиболее четко проблему амбивалентности социальных ролей интеллигенции поставил покойный российский историк М. Гефтер. Он прозорливо заметил, что интеллигенция была и продолжает оставаться до сего времени ресурсом гонимых и резервом гонителей [12, с. 87–88]. Хотя в обыденном сознании те же отношения, скорее всего, выражались в терминах *защиты от власти* или, напротив, *защиты (поддержки) власти*. Опираясь на это, я предложил несколько моделей профессионального поведения и политических позиций, характерных для советских обществоведов в конце 1960-х – начале 1970-х гг. [13, р. 133–148; 14, с. 110–142].

Одна из них может быть определена как *индивидуальное существование в нише профессиональной деятельности*. Некоторый запас жизненного оптимизма давал основания не страдать в условиях советского режима. Определенным ресурсом выступала беспартийность и/или отстранение от сферы непосредственных партийных интересов. Чаще всего это связывалось с возможностью занятий «чистой» наукой. Здесь люди чувствовали себя относительно свободно. Другой вариант

«разрешенной» свободы – преподавание в вузе (политическая свобода отсутствовала, но была свобода распоряжения временем).

Аполитичность и выработанная с годами склонность были средством избежать погружения в реальность и обойти табуированные стороны прошлого в процессе научной и педагогической деятельности. Люди с подобными установками оставались стопроцентными продуктами советской системы. Но их жизнь проходила без травм и сломов в отстраненном профессиональном мировоззрении. Бегство от реальности спасало: оно служило почвой для «нетрагического варианта фатализма».

Название еще одной модели – *коллективная иммунная защита от власти на основе «игр по правилам»*. В этом случае нет открытого протеста или борьбы, но есть скрытое сопротивление попыткам идеологизации науки, профессиональной деятельности. Поведение внутри замкнутого круга профессионалов не совпадает с официальным внешним поведением. Это давалось нелегко, требовало определенной способности к «мимикрии», к колебаниям вместе с линией партии. Но выигрыш очевиден – сохраняется профессиональная среда. Собственно профессиональная деятельность в подобных условиях опиралась на правила безопасности. Одно из них состояло в поиске нейтральных или общественно одобряемых (часто конъюнктурных) тем. Если историк искал темы исследований, не возбуждающие повышенного общественного или официального внимания, то социолог занимался критикой буржуазной науки, поскольку без критики трудно было сообщить читателю некий объем положительного знания. Еще одно правило состояло в том, чтобы вопреки собственным убеждениям не выходить за «красные флажки» цензурных или идеологических запретов. «Коллективизм-конформизм и ранняя идеологическая индоктринация развращали нас с детства, официальные нормы и стиль поведения воспринимались как нечто естественное, единственно возможное, интеллектуальные сомнения и нравственная рефлексия приходили, если приходили, много времени спустя <...> Действительно свободными становились только те, кто полностью, хотя бы внутренне порывал с системой, начиная жить по другой системе ценностей <...> но таких было немного» [11, с. 113–114].

О том же пишет А. Каменский, возвращаясь к практикам поведения представителей отечественной исторической науки в советскую пору [15, с. 4–12]. Удаление предмета исследований от официальных тем позволяло обойти рифы конъюнктуры. В реальности историки делились на две части – одни лишь условно допускали марксистскую схему, исполняя «ритуал»; для других эта схема «составляла плоть и кровь». Хотя частокл цитат не препятствовал тому, чтобы разглядеть ортодоксов и увидеть людей, стоящих ближе к «исторической правде». Свобода своеобразно повлияла на сообщество – кто-то из «прогрессивных» превратился в почвенника, скроенного по современной моде, а кто-то, напротив, стал заядлым консерватором. Каменский добавляет, что «в целом отказ от марксистской парадигмы для большинства историков, по крайней мере, на первый взгляд, прошел на удивление быстро и безболезненно <...> Что лишь служит подтверждением того, что для большинства это было не более чем проформой» [15, с. 6].

Но все же история продолжает оставаться идеологизированной сферой. Отрешились от старого мира далеко не все, кто об этом публично заявляет. «Подполь-

ные коммунистические парткомы действуют сегодня и на исторических факультетах некоторых вузов» [15, с. 12]. Любопытно отдельные действия власти. Депутаты Думы крайне взволнованы тем, по каким учебникам учат детей в школе. Они осуждают все, что создано на деньги Сороса, и даже принимают соответствующие постановления. Однако эти документы обходят молчанием появление учебников под грифом Министерства образования и насыщенных, к примеру, откровенно националистическим содержанием. Каменский приводит рассказ своего коллеги из старинного русского города, где на вступительном экзамене в пединституте заместитель губернатора «лично» следит, чтобы абитуриенты «правильно» трактовали образ Сталина.

Первый мост: историческая социология

Редактор общероссийского журнала «Социс» Ж. Тощенко, открывая рубрику «Историческая социология» (спустя 24 года после выхода в свет первого номера в 1974 г.), имел основания сказать две важные вещи. Конечно же, традиция отечественной социологии состояла в тесной связи с историческим знанием, однако «данная отрасль» до последнего времени оставалась не конституированной в полной мере, плохо развитой. Проблема выглядит определенно и старой, и новой. Старой потому, что синтез исторического и социологического знания имел место *de facto*. Новой потому, что *фундаментальных работ, посвященных синтезу этих ветвей знания, в российской литературе практически нет* [16, с. 3].

Исторической социологией принято называть дисциплину, которая связана с обращением социологов к прошлому с использованием соответствующих документов и источников, но сохраняет при этом качественную специфику социологического знания [17, с. 7–13]. Выйдя за предел национальных границ этой дисциплины, нетрудно обнаружить, что глубокий и последовательный историзм отличал труды О. Конта, Г. Спенсера. На данные исторической науки опирались едва ли не все основные работы М. Вебера. Известный русский социолог М. Ковалевский, по свидетельству своих коллег, строил социологию «снизу», опираясь на фактический материал, доставленный историей. Однако тот же М. Вебер, Г. Зиммель, Э. Дюркгейм, П. Сорокин, перевели социологические исследования в эмпирическое русло, изучая в первую очередь то, что поддавалось точному измерению, и *непреднамеренно* повлияли на резкое снижение внимания к историческому материалу. В итоге в мировой социологической науке долгое время, вплоть до конца первой половины прошлого века, доминировали *внеисторические*, если не *антиисторические*, подходы [17, с. 8]. К тому же и сами историки серьезно игнорировали социологию. Не только в России, но и за рубежом их отношения были не безоблачными.

Но уже в середине прошлого века положение стало иным, традиционное картирование поля социальных дисциплин изменилось, — что может быть продемонстрировано на историко-социологических работах по проблемам СССР, выполненных западными учеными. Работы советологов своими выводами подняли на новый уровень общетеоретические представления о социологических проблемах элит, бюрократии, политических систем, революции, модернизации и т. д. При этом парадигма взаимодействия наук на Западе устоялась, как и историческая социология в целом. Историки Запада начали осваивать новые для них области — семиотику,

культурологию, социальную психологию, приступили к осмыслению роли и места наук об обществе в целом [17, с. 9–11].

Усилия российских ученых направлены, прежде всего, на стыковку («интерфейс») истории и социологии, которая, по свидетельству экспертов, перетекает в историю медленно, встречая серьезные препятствия и возражения со стороны многих историографов. Социологи также не спешат в области истории, считая свою науку более «позитивной», точной, экспериментальной» [18, с. 44].

Прогноз состоит в следующем. На Западе новое столетие может принести с собой институционализацию «исторической социальной науки», в то время как на Востоке (Россия) будут тратить усилия на доказательство того, что социология не может не быть в своих наиболее существенных частях историей, поскольку все социальные явления имеют прошлое, цвет которого несет не только настоящее, но и будущее [17, с. 12].

Мучительно осваивается западная традиция и историография. Последняя долгое время делилась на прогрессивную (демократическую) и буржуазную (заведомо недружественную). Специалисты по истории зарубежных стран владели языками народов изучаемых стран, но для историка России знание иностранного языка могло считаться избыточным. Poleмика сводилась к цитированию разоблачительных статей, в большинстве своем написанных на русском языке. К тому же и история страны могла считаться неподвластной уму иностранцев для глубокого понимания. *В сущности, нет нашей и не нашей науки, есть наука и не наука* [15, с. 11]. К этому выводу А. Каменского я присоединяюсь.

Второй мост: социальная история и социологические исследования

Уже из определения предметной области социальной истории (генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства) становится ясной связь, или, проще сказать, зависимость этой исторической субдисциплины и социологии. Ключевой вопрос здесь – *тональность объяснения* советского периода. Б. Миронов предлагает исходить из презумпции нормальности российского исторического процесса. Отсюда его идея *клиотерапии* [19, с. 16], синонимом которой является трезвое осознание достоинств и недостатков истории своего государства и общества. (История призвана в этом случае внушить людям исторический оптимизм, дать им духовное излечение – так определил ее задачи московский историк В. Согрин.) Формирование понимания прошлого и мифы, которые образуются при этом, не должны несправедливо унижать национальное достоинство [19, с. 15], лишая массовое сознание средств интерпретации прошлого, ориентиров на будущее.

Но здесь есть несколько проблем. Проблема *первая* – современная интерпретация истории советского общества. Привычно пользуясь концепцией «тоталитарного общества», которая была порождена условиями «холодной войны» и является изобретением западной социологии, искавшей способ наиболее точного представления своего главного идеологического противника в глазах мирового сообщества, можно прийти к достаточно одномерному представлению о советской системе [14, с. 152]. Последняя в таком случае представляет собой режим, опирающийся на насилие (террор), которое охватывает все сферы его жизнедеятельности (политическую и экономическую, прежде всего), а также на принудительную иде-

ологическую индоктринацию. Подобный взгляд гипертрофирует роль советского государства и мало что оставляет за советским обществом [20, с. 323–327]. Последнее в этом случае состоит из «винтиков», лишенных каких бы то ни было субъектных прав. Что до государства, то оно возвышается над индивидом, заполняя собой все клетки жизненного пространства, включая структуры повседневности. Обращение к земным реалиям (речь идет об анализе разнообразия человеческих действий, конкретных практик в условиях СССР) позволило дополнить представления о жестком, насаждаемом сверху социальном порядке более сложной, многомерной, «диффузной» моделью. Согласно этой модели, внутри советской системы действовали механизмы длительного и сложного согласования интересов общества и государства, их взаимного приспособления [20, с. 327]. Такой взгляд позволяет включить в рассмотрение не только системы партийно-государственных запретов, всякого рода социальных табу, технологии подавления и регрессий, но и способы искусного обхода, использования и игнорирования запретов и ограничений, открывавших перед членами общества различные возможности выживания. Их можно выделить в три группы.

1. В условиях, когда социальная группа не могла выступить в защиту своих членов и тем более объединиться для отстаивания общих интересов, рациональная стратегия выживания индивида и его приспособления к условиям советского социума стала осуществляться по правилу «каждый спасается в одиночку...» [21, с. 273–280]. Подчеркнем здесь еще раз, что у ординарного советского человека не было шансов для элементарного самосохранения без явной или мысленно допускаемой сделки с дьяволом – всемогущей властью. С другой стороны, и сам дьявол в данном случае не мог существовать, не совершая постоянных сделок с множеством рядовых людей, не признавая за ними права на обособленную (приватную, семейную) сферу и права на самосохранение. «Взаимная снисходительность», проявлявшаяся в подобных бесчисленных случаях, как писали авторы исследования «Советский человек», проведенного ВЦИОМ в 1989 г., привела к формированию двойных стандартов в обществе, точнее говоря, к двоемыслию. В итоге в той или иной мере все группы образованной элиты и отдельные ее представители «вынуждены были пройти через “сделку с дьяволом”, стремясь к тому, чтобы сохранить себя, возможность работать и хранить культурное наследие» [22, с. 31–32].

2. Наряду с существованием двоемыслия, дожившего до нашего времени, объективно имело место осознание губительности двоемыслия. Данный факт со всей неизбежностью приведет к тому, что уже в 1970–е гг. будут в открытой форме функционировать две культуры – разрешенная и не разрешенная. В любом случае это раздвоение ознаменует собой открытое сопротивление Человека.

3. Пристальный взгляд в прошлое позволяет отдельным исследователям заявить более радикальную позицию, опровергая стереотипный взгляд, согласно которому советское общество было «сплошным Гулагом» или «сплошным сталинизмом». В своем интервью газете «Комсомольская правда» Б. Грушин, автор книги «Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения» [23], сказал: «Закончив первый том, я могу точно сказать, что наше общество было неоднородным. Оно населялось не только homo soveticus, но и homo communisticus и homo sapiens. И это принципиально отличается от расхожей точки зрения, что все – “совки”. Не все. Работая над вторым томом, я вижу, как одна из групп, homo

communisticus, постепенно исчезает уже в эпоху Брежнева, потому что обещанный коммунизм гикнулся, и все знают, что он не то что не за горами, а его вообще не существует, и уж во всяком случае, он невозможен в нашей стране. Кстати, "шестьдесятники" из той же породы, homo communisticus, как ни обидно. Зато возникает совершенно очевидный конфликт между homo soveticus и homo sapiens. Число последних увеличивается, и у них совершенно другая система ценностей [24].

Проблема вторая: качество социологической информации. Удалось ли социологии в те годы вырваться за рамки господствовавших тогда идеологизированных моделей, которые представляли внешнему миру разукрашенный фасад и выдавали этот фасад за реальность? Партийно-государственная система отчаянно сопротивлялась самопознанию, а отсутствие объективных данных блокировало реалистическую политику [25, с. 86].

Социологи сумели найти выход из познавательного тупика, вызванного принудительным навязыванием парадигмы идеологизированного исторического материализма. Концепция трехуровневой структуры социологического знания: общесоциологическая теория (исторический материализм) – частные социологические теории (теории среднего уровня, по Р. Мертону) – эмпирический базис (собственно эмпирические исследования) – была хотя и вынужденным, но своевременным компромиссом [26, с. 11]. Ее главный разработчик В. Келле не так давно писал: «Я прекрасно понимал, что если теоретические исследования будут проводиться не на теоретической базе марксизма, то им развиваться не дадут, их задушат <...> Доступными мне средствами я пытался защитить и уберечь то новое, что появилось в нашей научной жизни. В данном случае – эмпирическую социологию, упоминание о которой незадолго до этого неизменно сопровождалось эпитетом "буржуазная". И надо сказать, что тактика сработала: официоз принял эту точку зрения» [25, с. 87]. Путь к изучению «реальных проблем» был открыт.

Марксизм «отраслевых» социологий примечательным образом «совмещался» со структурным функционализмом Т. Парсонса, который, как известно, утверждал идеи стабилизации общественной жизни. Пафос гомеостаза был близким по духу представлениям об управляемости, планируемости, иллюзиями которых питалось сознание руководителей страны. Еще один серьезный прорыв к познанию социальной реальности произошел на базе широкого применения аппарата и языка системного анализа. В итоге, невзирая на спазмы и конвульсии советского политико-идеологического контроля, дело двигалось вперед, постепенно раскрепощая социологию от «единственно правильного и всеобъемлющего» учения.

Однако в социологическом знании существует множество лакун. Например, относительно неразработанными применительно к условиям 1950–1980-х гг. остались вопросы, связанные с общественно-политической жизнью СССР и функционированием власти (ведь собственно политическая социология обязана своим рождением перестройке и гласности, как и социология массовых движений, открывающих пути к демократизации общества). Система партийных и цензурных запретов сказалась на изучении девиантного поведения – преступности, которую вплоть до середины 1980-х гг. считали пережитком капитализма, как, впрочем, и проституции, которая считалась как бы не существующей. Концентрация на истории «партийно-государства» шла в ущерб изучению истории народа и общества, поскольку социальные науки должны были отражать успехи страны, братских союзных республик, успехи в решении национального вопроса, победы мировой социалисти-

ческой системы. Идеология намеренно сужала круг проблем, которые в реальности составляют общее поле истории и социологии.

Третий мост: устная история как ресурс социального знания

Тезис первый – *общегражданский*. Устная история с ее вниманием к конкретному человеку и его личному историческому опыту как нельзя лучше отвечает потребности в диалоге поколений в начале двадцать первого века, вновь испытывающего влияние быстрых социальных перемен в России. Поэтому деятельность Центра по изучению устной истории Европейского университета в Санкт-Петербурге, поощряя складывание исторического самосознания, чувства общественной солидарности и личной ответственности, может быть особенно важна в контексте формирования гражданского общества, где каждый человек получает возможность быть услышанным.

Тезис второй – *устная история как реакция на кризис современного социального знания и его увлечение количественными методами*. Сегодня внутреннее доверие к количественным методам сохраняется, однако качественные методы кажутся более привлекательными. К тому же, как это не раз замечено в апологиях качественных методов, количественные методы предлагают результаты измерений, выраженные на искусственных (формализованных) языках, а качественные методы – результаты наблюдений, записанных с помощью естественного языка. Отсюда одна часть социальных исследователей, пытаясь достичь убедительности, стремится войти в жизненные миры индивидов, а другая часть старается обойтись без этого, считая себя прикрытой броней из чисел и потому неуязвимой. В итоге возникнет противостояние числа («позитивной науки») и естественного языка (актора). Кажется, что качественные методы ближе к дыханию жизни социума, к возможности понять его настроение, структуры и особенности повседневной деятельности индивидов. Историческое время, которое лишало людей права на сомнения, уходит, наблюдаемая девальвация безошибочных конструкций реальности, которые предлагают позитивисты, кажется явлением закономерным. Вот так с опозданием я восстановил для себя в правах доверие к понимающим социальным наукам. Меня не смущает, что за этим стоит размывание жанра социального мышления, подмеченное американским антропологом К. Гирцем. Сценарии иных обществоведческих работ, по его же наблюдению, используют законы театральной драматургии, представляя жизнь социума как драму характеров и судеб в определенных социальных обстоятельствах. Я бы считал полезными для науки эти сценарии, если они сближают исторический (социологический, культурно-антропологический) дискурс с ментальностью широких кругов.

Тезис третий – *возможный сценарий развития исследований устной истории*. Перспективной кажется идея исследовательского проекта, построенного, в любом случае, на изучении **актуальной российской (советской) темы** с целью получения крупного научного результата. Интересы ЕУСПБ к инициации и разработке такого проекта состоят в том, чтобы развить междисциплинарные подходы, межкафедретские связи, синтезировать образовательную и научную деятельность и, опираясь на взаимовыгодное международное сотрудничество в родственных областях социального и гуманитарного знания, повысить научный авторитет университета в России и за рубежом.

В качестве одного из вариантов тематику проекта полезно связать с социальной историей российского (советского) общества, которая во многих смыслах и аспектах остается «недоисследованной». Углубление процесса познания зависит от возможности ввести в оборот новые или мало использованные источники исторически значимых сведений, запоздало получившие высокий рейтинг у историков. Один из таких источников — ныне здравствующие граждане России, представляющие самые разнообразные слои населения, чей личный и коллективный опыт жизни ранее в СССР, а теперь — в России может существенно дополнить уже известное обществоведам.

Особо следует сказать о представителях старших возрастных когорт, поколениях людей, на долю которых выпало быть свидетелями и участниками грандиозных исторических трансформаций нашей страны. Их естественное старение затруднило сбор достоверной индивидуализированной информации о восприятии эпохи 1930-х гг. Аналогичные трудности возникнут через несколько лет, например, при попытках новых исторических реконструкций периода Великой отечественной войны и т. д. То же можно сказать о сравнительно малоизученных 1950-х и 1960-х гг. советской истории. Одним словом, было бы ошибкой оставить грядущие поколения обществоведов наедине с официальными источниками исторической информации и не обеспечить их надежными фондами информации неофициальной. Назовем ее экзистенциальной, отражающей особенности экзистенциального опыта жизни в советском обществе.

Известно, что после войны был осуществлен так называемый Гарвардский проект — глубокие интервью с несколькими сотнями перемещенных лиц (бывших советских граждан) с целью получить достоверные сведения об особенностях жизни респондентов в довоенном Советском Союзе [27]. Не вдаюсь в подробности этого масштабного и по нашим временам проекта. Важнее сказать, что его авторы достигли поставленной цели и смогли приподнять завесу над многими «тайнами» советской жизни. Данные, собранные тогда, долгое время служили ресурсом для большого числа исследований. В частности, не так давно интервью Гарвардского проекта составили базу для книги Ш. Фицпатрик «Повседневный сталинизм» [28].

Возможность «римейка» Гарвардского проекта — в этом суть практического вопроса, поставленного временем. Не вызывает сомнения, что проект будет иметь статус joint venture. Объектом изучения станут российские граждане. Предмет исследования (представления о каком периоде или о какой стороне жизни в СССР) — подлежит обсуждению. Но здесь могут получить приоритет мысли и чувства тех людей, которых более никогда не представится возможным интервьюировать в силу их возрастных и других особенностей. В кинематографе часто пользуются понятием «уходящая натура», когда хотят подчеркнуть, что состояние объекта часто влияет на время съемок и может резко изменять съемочные планы. Это понятие актуально и для нас.

Вместо заключения

Не так давно общество «Мемориал» провело конкурс российских старшеклассников под девизом «Человек в истории. Россия. XX век». Оценивая итоги этой акции, журнал «Неприкосновенный запас» писал: «Прошлое противоречиво, потому что про него нужно много знать, чтобы разобраться, слишком уж оно разное. Из

ужасов про коллективизацию, блокаду, войну и репрессии получаются страшные сны, и в голове не укладывается, во-первых, как это люди всегда умели быть счастливыми (да ведь не были же все несчастливы поголовно!); как это мы живем себе и живем в такое вроде бы спокойное время (хотя очень старому человеку оно не в радость)» [29, с. 86]. Открытие будет не в академизме, а там, где сквозь необходимые атрибуты исторического сочинения, будь оно написано профессионалом или рядовым гражданином, слагающим устную историю собственной жизни, будут видны эмоции автора, порожденные встречей с иным укладом мысли, с другой речевой стихией (будь то документ или интервью), с картинами быта и нравов, способными затронуть воображение [29, с. 87]. Именно такие интонации стимулируют формирование исторического сознания общества, открывают путь к общим и частным проблемам дискурса, сопровождающего движение человека в отмеренном ему социальном и индивидуальном времени. Соглашусь с тем, что такого рода интонации стали аккомпанементом сравнительно недавно.

Литература

1. Гудков Л. Образованное общество в России: социологические подступы к теме // Неприкосновенный запас. 1999. № 1 (3).
2. Пантин В., Лапкин В. Ценностные ориентации россиян в 90-е годы // Pro & Contra. 1999. Т. 4. № 2.
3. Фирсов Б.М. Историческая динамика развития советской и постсоветской культур // Куда идет Россия?.. Трансформация социальной сферы и политика / Под общ. ред. Т.И. Заславской. М.: Дело, 1998.
4. Геллер М., Некрич А. Утопия у власти. История Советского Союза с 1917 года до наших дней в 3-х книгах. Книга 1. М.: Изд-во МИК, 1995.
5. Timasheff N. The Great Retreat: The growth and decline of communism in Russia. N.Y.: E.P. Dutton & Company, Inc., 1946.
6. Robin R. Stalinism and Popular Culture // The Culture of the Stalin Period / Ed. by H. Gunther. L.: MacMillan, 1988.
7. Кен О.Н. Между Цезарем и Чингисханом. «Наполеон» Е.В. Тарле как литературный памятник общественно-политической борьбы 1930-х годов. Рукопись. 1997.
8. Волков В.В. Концепция культурности, 1935–1938 годы: советская цивилизация и повседневность сталинского времени // Социологический журнал. 1996. № 1–2.
9. Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры. М.: Аспект Пресс, 1997.
10. Фрумкина Р. Внутри истории. Эссе, статьи, мемуарные очерки. М.: Новое литературное обозрение, 2002.
11. Российская социология шестидесятих годов в воспоминаниях и документах / Отв. ред. и авт. предисл. Г.С. Бальгин. М.: Русский христианский гуманитарный институт, 1999.
12. Гефлер М. Мир миров: российский зачин // Иное. Хрестоматия нового российского самосознания. Т. 3. М.: Аргус, 1995.
13. Firsov B. The Elite and the Power in Russia (Historical dynamics of relations) // Elites in Transition. Elite Research in Central and Eastern Europe / Best H., Becker U. (Eds). Opladen: Leske und Budrich, 1997.
14. Фирсов Б.М. История советской социологии 1950–1980-х годов: Курс лекций. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2001.
15. Каменский А. Заметки об истории и историках // Неприкосновенный запас. 2000. № 3 (11).
16. Тощенко Ж.Т. Историческая память и социология // Социс. 1998. № 5.